

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

«Аррия Марселла» и другие новеллы

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО ЕЛЕНА
АЙЗЕНШТЕЙН



Теофиль Готье

«Аррия Марселла»

и другие новеллы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20614108

ISBN 9785448310508

Аннотация

В книге представлены шесть интересных и необычных новелл Теофиля Готье: «Омфала», «Соловьиное гнездо», «Любовь смертной», «Аррия Марселла», «Король Кандуль», «Два актера на одну роль». Невероятность сюжета соседствует в книге с мастерством описаний и богатством словесной палитры. Все новеллы приведены в переводе Елены Айзенштейн.

Содержание

Предисловие	5
Omphale	11
Омфала	12
Le nid de rossignols	27
Соловьиное гнездо	28
La morte amoureuse	36
Любовь смертной	37
Конец ознакомительного фрагмента.	62

«Аррия Марселла» и другие новеллы

Теофиль Готье

Переводчик Елена Оскаровна Айзенштейн

Оформление обложки "Берег моря. Неаполь" П. А. Левченко, XIX в., Харьковский художественный музей (PD-CC0)

© Теофиль Готье, 2023

© Елена Оскаровна Айзенштейн, перевод, 2023

ISBN 978-5-4483-1050-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Теофиль Готье (1811—1872) – один из самых интересных французских писателей, автор «Капитана Фракасса» и «Романа о мумии», поэт, создатель книги «Эмали и камеи» («Emaux et Camées»), переведенной в 1914 году Н. С. Гумилевым, «волшебник французской речи» («magicien des lettres françaises»), как назвал его в своем посвящении на «Цветах зла» Бодлер; прозаик и критик, создатель книги «Путешествие в Россию», романтик, в новеллах которого мы ощущаем особенную любовь автора к искусству. Он очень похож на своих героев: на молодого человека из «Омфалы», на Октавиана («Аррия Марселла»), на царя Кандуля из одноименной новеллы или на Генриха («Два актера на одну роль»), так ценящих искусство и живущих ради него.

Неоднократно в произведениях Готье встречаем слово «покрывало» (французское «voile»). Т. Готье драпирует свои образы покрывалами искусства, находя для них великолепные, многокрасочные эпитеты, насыщая ими свою речь, как художник наносит краски на полотно. Писатель с наслаждением создает художественные картины, подробно живописуя каждую поэтичную деталь. Но Теофиль Готье и сбрасывает ненужные ему драпировки, обнажая перед читателем то, что скрывает жизнь. Покрывало – и преграда, и парус, средство

для развития воображения: каждый может мысленно нарисовать ту картину, которую хочет. Т. Готье переносит своих героев в различные эпохи: читатель оказывается то в Лидийском царстве, то среди развалин древних Помпей, то в Вене, в самом центре Европы или в Венеции, во Франции, в Китае или в Испании. Т. Готье сам был страстным путешественником, прекрасно разбирался в различных культурах. Нам, живущим в России, особенно льстит его книга «Путешествие в Россию» («Voyage en Russie», 1867), рисующая великолепный портрет русского государства в пору правления императора Александра II; Т. Готье описал свое длительное, многомесячное посещение Петербурга, поездку в Москву, а затем, после возвращения домой, во Францию, писатель, полюбивший Россию, совершил второе путешествие и написал вторую часть своих записок, касающуюся Нижнего Новгорода и окрестностей. Готье создал свою книгу на деньги русского царя (у него не было денег на путешествие, и он попросил оплатить ему расходы на поездку, взамен пообещав книгу о России, что и было сделано, в надежде на будущих иностранных туристов и интерес к русской жизни и культуре), но очевидно, что французский писатель был, действительно, очарован русской жизнью, памятниками архитектуры, русским гостеприимством, красотой и образованностью русских женщин, читавших на европейских языках и свободно поддерживавших беседу о новинках французской литературы (у Готье даже возникло впечатление, точно он ни-

куда не уезжал из Франции); с подробностью летописца и художника он живописует одежду и нравы жителей Петербурга, русскую кухню и главное – архитектурные достопримечательности, хотя и созданные зачастую итальянскими и европейскими мастерами, но являющиеся достоянием русского искусства. Поражает доброжелательность Т. Готье по отношению к России и ее традициям. Будучи настоящим художником и ценителем искусств, Т. Готье так в деталях описал Исаакиевский собор, что до сих пор его работа вызывает интерес искусствоведов. Отдельные страницы книги французский писатель уделил русским художникам и «пятничному» кружку, в который он был приглашен на правах товарища, и не случайно: Т. Готье свой путь в искусстве начинал именно как живописец. Нельзя без улыбки читать о возвращении писателя в Париж, о котором с большим юмором сообщает он сам, вспоминая о русских телегах и дорогах: судя по всему, Теофиль Готье был человеком очень выносливым: его не смог испугать и ошеломить наш русский сервис.

Многие произведения Теофиля Готье стали основой для балетных спектаклей, таких, как «Жизель», «Дочь фараона», а его новелла «Омфала», которая переведена на русский язык и предлагается читателю в настоящем сборнике, явилась основой балета Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», поставленного в начале 20 века на сцене Мариинского театра М. Фокиным (25 ноября 1907 года), где в главной роли выступила Анна Павлова (с ней танцевал Вацлав Нижинский),

затем балет шел в Париже во время Дягилевских сезонов, где стал одним из значительных событий музыкальной культуры. Автором-постановщиком балета выступил Александр Николаевич Бенуа.

Сам Готье также черпал вдохновение в чужом творчестве. Например, его восхитительная новелла «Царь Кандуль» возникла под сильным впечатлением от картины художника Джозефа Фердинанда Буосарда де Буасденьера «Le Roi Candaule et Gygès» (1841). Она основана на подлинной истории о царе Кандуле и его жене, сюжет которой многократно становился источником различных живописных работ. Историю царя Кандуля пересказывали в разных версиях. Одна из них принадлежит Геродоту, которого, Готье, несомненно прочел. Но Геродот не упоминает имени жены Кандуля (царя Кандавла, в другом переводе). Оно встречается у Птолемея, откуда и попало, видимо, в новеллу Т. Готье. О новелле «Царь Кандуль» высоко отзывались Виктор Гюго и Бодлер. Последний восхищался очарованием искусства речи Готье и утонченностью его языка. «Так будем же любить наших поэтов тайно, украдкой, – призывал он. – За границей это даст нам право хвастаться своей любовью». В этой статье, посвященной Т. Готье, Бодлер писал: «Соседи наши говорят: „Шекспир и Гете!“ Мы можем им ответить: „Виктор Гюго и Теофиль Готье!“»¹. Готье в новелле о Кандуле выступает как тонкий психолог, излагая историю

¹ <http://bodlers.ru/TEOFIL-GOTE.html>

любовного треугольника в трех ракурсах, от лица каждого участника событий. Вот почему читатели новеллы чувствуют правоту каждого персонажа, становясь, по воле автора, на их точку зрения. У Готье Кандуль не просто ненормальный царь, а безумно влюбленный художник, который смотрит на все, что его окружает, глазами человека искусства. Не случайно его именем названа новелла. Вероятно, Т. Готье попытался исследовать произошедшую в действительности историю, рассказав ее по-своему, ничего не добавляя, но особым образом освещая события. Для Готье история царя Кандуля – средство поведать о событиях чуждой цивилизации и вместе с читателем оказаться в Лидийском царстве. Популярный в искусстве сюжет о царе Кандуле и его слуге оказывается метафорой взаимоотношений человека искусства и зрителя, смотрящего на красоту, сотворенную человеческой (божественной) рукой. Всегда ли телесная красота соответствует душевной? «Вечный третий в любви», зритель, читатель, художник, изображающий жизнь своих героев на полотне, не тот же ли подглядывающий юноша? Различие в том, что Готье, человек искусства, создает на основе того, что он «подглядел» в картине своего друга-художника новое произведение на своем, полном поэзии и утонченности языке, а герой легендарной истории под влиянием силы красоты совершает убийство. Безусловно, Готье занимает этот сюжет не случайно. Он выступает в новелле как беспристрастный художник, не отдавая предпочтения ни одно-

му из своих персонажей, находясь все время как бы за невидимой дверью, которую он приоткрыл для читателя и остался незамеченным.

Новеллы Теофиля Готье привлекают нас своими странными сюжетами, где грань между земным и небесным непрочна, а герои в сновидениях способны нарушить этот колеблющийся барьер, оказавшись в другом историческом времени («Аррия Марселла») или встретиться с существом из загробного мира («Любовь после смерти»). Книга Теофиля Готье будет интересна читателю с воображением, любящему красоту и колорит роскошных художественных описаний, которые сопоставимы разве что с живописью. Конечно, перед нами книга поэта, это чувствуется в каждой строке.

Новелла – яркий сюжетный рассказ с необычным развитием событий, с неожиданной концовкой. Теофиль Готье не разочаровывает читателя, ждущего чудес, странных переплетений судеб и событий. Его пером всегда движет любовь, даже если героиней оказывается существо погибшее, над которым довлеют дикие законы древней цивилизации, или призрак, или человек, потерявший собственную волю от любви. Так или иначе, поэт Т. Готье верит в то, что только в любви к искусству, к жизни, к Богу и к человеку как к творению Божьему, содержится смысл человеческого существования.

Елена Айзеништейн

Omphale

Омфала

История эпохи рококо

Мой дядя, рыцарь де***, жил в маленьком доме, расположенном на печальной стороне улицы Турнель, где по другую сторону тянется унылый бульвар Сент-Антуан. Между бульваром и главными зданиями находились какие-то старые беседки, пожираемые роями насекомых и мхом, жалобно простирающие свои бесплотные руки в глубину клоаки, обрамленные высокими черными стенами. Какие-то бедные оранжерейные цветы томно склоняли свои головы, как туберкулезные молодые девушки, ожидая лучей солнца, которые упадут на их сухие полугнилые листья. Трава вторгалась на дорожки, полные забвения, и это длилось так долго, что грабли уже не пошли бы в ход. Одна или две красные рыбки плавали в пруду, покрытом ряской и болотными растениями.

Мой дядя называл это своим садом. В саду моего дяди находились и другие прекрасные вещи, которые заслуживали описания; был один довольно мрачный павильон, который, без сомнения, как ни странно, можно было назвать «Радость». Он находился в полном запустении. Стены казались брюхом, огромные разобранные плиты лежали на земле между крапивой и овсягом; гниlostная плесень зеленела внизу на фундаменте, деревянные ставни и двери шата-

лись, не закрывались совсем или плохо затворялись. Украшением главного входа была большая сияющая печь, времен Людовика XV, эпохи создания «Радости»; в то время всегда, в целях предосторожности, делалось два выхода. Овес, цикорий, завитки орнамента наполняли карниз, пострадавший от воздействия дождевой воды. Короче говоря, это была достаточно мрачная заводь, для того чтобы ощутить *Радость* моего дяди, рыцаря де ***. Эти бедные вчерашние руины, такие полуразрушенные, как будто им была тысяча лет, отвалившиеся куски гипса, все морщинистое, потрескавшееся, покрытое плесенью, пронизанное мхом и грибком, имело запах ранней старости, изношенной грязными дебошами, не вселявшей никакого уважения; так как не было ничего такого же уродливого и такого же нищенского в мире, вроде старой марлевой одежды и старой штукатурки, – двух вещей, которые не должны были длиться и длиться.

В этом павильоне мой дядя и разместил меня.

Внутри не было меньше рококо, чем снаружи, просто все немного лучше сохранилось. Кровать с желтым светильником и большими белыми цветами. Часы опирались на пьедестал, инкрустированный перламутром и слоновой костью. Гирлянда роз кокетливо свисала бутонами вокруг венецианского зеркала; над дверьми монохромно изображались времена года. Прекрасная дама, припудренная морозом, в голубом небесном корсете, с вереницей лент того же самого цвета; лук в правой руки, куропатка в левой, полумесяц на лбу,

борзая у ее ног, дама улыбалась самой грациозной в мире улыбкой в своей огромной овальной раме. Это была старая возлюбленная моего дяди, которую он попытался написать Дианой. Обстановка, как мы видим, не была очень современной. Ничто не мешало нам поверить во времена Регентства, и мифологические ковры, простирившиеся на стенах, создавали иллюзию царства как нельзя лучше.

Гобелен представлял Геркулеса у ног Омфалы². Рисунок разворачивался наподобие Ван Лоо и в стиле самом помпадуровском, какой только можно представить. У Геракла была розовая прялка, и он поднял свой маленький пальчик со всей возможной грацией, как маркиз, который берет щепотку табака, развернув свой большой и указательный пальцы; белая искра кудели, его нервная натруженная шея в узлах лент, розочки, ряды жемчуга и тысячи женских штучек, широкая юбка горла голубя, две огромные корзины, заканчивающие картину, взгляд бравого героя, убивающего чудовище.

Белые плечи Омфалы были покрыты кожей Немейского льва, ее хрупкая рука опиралась на искривленную булаву ее любовника, ее прекрасные русые напудренные волосы беспечно спускались по ее длинной шее, тонкой и изящной, как

² Геракл попал в услужение к Омфале, после того как был продан в рабство Гермесом. Он был очарован Омфалой, сидел с пряжей на руках и угождал ее прихотям. Сюжет об Омфале и Геракле очень популярен и присутствует в картинах Вернозе, Рубенса, Тишбайна и других. Симфоническую поэму «Прялка Омфалы» написал Сен-Санс.

шая голубя; ее маленькие ножки, истинные ножки испанки или китайки, которые утонули бы в хрустальных туфлях Золушки, были обуты в нежно-сиреневые с зернами жемчуга сандалии³ полуантичной формы. Поистине она была прелестьна! Ее голова была откинута назад в выражении сладостного высокомерия, ее рот был сжат и создавал очаровательную миленькую гримасу; носик был слегка пухленьким, щечки чуть сияли; убийца, умно помещенный сюда, усиливал блеск великолепного вида, ему не хватало маленьких усов, для довершения картины мушкетера.

На гобелене были и другие прекрасные персонажи, например, следующий долгу маленький строгий амур, но они не остались в моей памяти в столь совершенной форме, чтобы я мог описать их.

В то время я был еще очень молод, и кто бы мог сказать, что я буду так стар сегодня, но я вышел из колледжа и остановился у моего дяди, который ожидал, что я изберу профессию. Если бы этот прекрасный человек мог предвидеть, что я предамся фантастическим сказкам, нет сомнения, он бы выбросил меня за двери и бесповоротно лишил наследства, так как испытывал к литературе, главным образом, и к авторам, в частности, презрение самое аристократическое. Поскольку он был истинным джентльменом, он хотел повесить или избить палками всех этих людей, всех маленьких писак,

³ В подлиннике обувь дамы – это котурны, античная сандалии на высокой платформе.

которые пачкали бумагу и непочтительно говорили о человеческих характерах. Пусть Бог в мире хранит прах моего бедного дяди! Но он, действительно, не думал о мире иначе, чем через послание Зетулба.

Итак, я вышел из колледжа. Я был полон мечтаний и иллюзий, был наивен, может быть, более, чем *rosière de Salency*, девственница из Салонси. В восторге, не большем, чем можно представить, я нашел, что все к лучшему в лучшем из возможных миров. Я поверю в бесконечность вещей, я поверю в пастушку де М. Флориана⁴, я поверю в рисованных барашков и белую пудру, ни на мгновение я не сомневался в образах мадам Дешульер⁵. Я думал, что на самом деле, фактически есть девять муз, как утверждали Аппендикс де Ди и Эруабю отца Джозефа Джованси. Мои воспоминания о Берквине и де Гесснере⁶ творили мой маленький мир, где все было розовым: голубое небо и зеленые яблоки. «О, святая невинность! О, святая простота!» – как говорил Мефистофель.

Когда я нашел себя в этой прекрасной комнате, в *моей*

⁴ Жан Пьер Клари Флориан (1755—1794) – французский писатель. Широко переводился на русский язык. Успехом пользовались его произведения в пасторальном духе, например, «Галатей».

⁵ В 1680 г. французская поэтесса Антуанетта Дешульер (*DESHOULIURES*, Antoinette du Ligier de la Garde, 1638 – 1694) написала оперу «Зороастр и СЕМИРАМИДА» (*Zoroastre et Semiramis*).

⁶ Гесснер Конрад (1516–1565) – швейцарский испытатель и библиограф, автор более 72 книг. Был известен современникам как ботаник, любил горы. Современники называли его «швейцарским Плинием». В честь Гесснера назван старый ботанический сад Цюриха.

комнате, только моей, я почувствовал такую радость, какой второй не было. Я тщательно стал изобретать, как можно лучше ее обставить, я заглядывал во все углы и обнажал все свои чувства. Я был на десятом небе от счастья, как король или два. После ужина (ибо мы ужинали с моим дядей), очаровательный обычай, ныне потерянный, вместе с другими, не менее милыми прелестями, и я сожалею обо всем, что имел в своем сердце; я взял мою свечу и ушел, так как мне не терпелось остаться одному в моем новом жилище. Когда я раздевался, мне показалось, что глаза Омфалы стали взволнованными; я посмотрел более внимательно, не без легкого чувства страха, так как комната была огромной и небольшой свет, плывший в полумраке мерцающей свечи, только усиливал ощущение темноты. Мне казалось, что ее голова повернута в противоположном направлении. Во мне всерьез начал работать страх, я погасил свет. Повернувшись к стене, я с головой накрылся простыней, натянув до подбородка ночной колпак и закончив приготовления ко сну.

Несколько дней я не смел взглянуть на проклятый гобелен.

Может быть, не было бы столь бесполезно вернуться к этой невероятной, невообразимой истории, которую я рассказываю, чтобы поведать моим прекрасным читателям, что в то время я был поистине красивый мальчик. У меня были самые красивые глаза в мире: я это говорю, потому что мне это говорили; оттенок лица был более свежий, чем се-

годня, поистине гвоздичный оттенок, каштановая шевелюра и кудри, которые меня украшали в семнадцать лет и которых больше нет. Я ни в чем не испытывал недостатка, кроме красивой крестной матери, чтобы сделаться прекрасным Херувимом, к сожалению, в мои пятьдесят семь и с тремя зубами уже слишком близка одна сторона и далеко до другой.

Однажды вечером, однако, я попытался кинуть взгляд на прекрасную любовницу Геркулеса, она овевала меня самым печальным и самым томным взглядом в мире. На этот раз я уронил мой колпак на плечо и сунул голову под подушку.

Я провел эту ночь в одиноком сне, если это и в самом деле был сон.

Я слышал, как шевелились кольца моего кроватного пола, скользившие по своим траекториям, как будто поспешно кто-то потянул за шторы. Я проснулся; по крайней мере, мне казалось в моем сне, что я проснулся. Я никого не увидел.

Луна освещала изразцы, бросая на комнату бледный голубой свет. Огромные тени странной формы рисовались на потолке и стенах. Часы прозвонили четверть, вибрация вышла долгой, и, можно сказать, они вздохнули. Пульсации звучали так, что было отлично слышно, и, казалось, взволнованного человека брали за сердце.

У меня не было ничего, кроме моего ощущения довольства, и я не слишком знал, что предположить.

От сильного удара ветра оконные стекла задрожали и раз-

летелись. Деревянные ставни закрипели, гобелен затрепетал.

Мне казалось странным смотреть в сторону Омфалы, и я смутно подозревал что-то неясное во всем этом. Я не мог обмануться.

Гобелен неистово задвигался. Омфала сошла со стены и легко прыгнула на паркет; она подошла к моей постели, повернув направо. Я полагаю, вам не надо рассказывать о моем изумлении. Бывалый солдат не мог бы быть спокоен в подобных обстоятельствах, а я не был ни старым, ни военным. В молчании я ждал конца приключения.

Слабый голосок плыл, звуча нежным жемчугом в моем ухе, испуганном колкостями властных маркиз и порядочных людей.

«Что же ты так испугался, мой мальчик? В самом деле, ты уже не ребенок, ну, нехорошо так бояться женщин, особенно тех, кто молоды и желают тебе добра, это не благородно и не по-французски, тебе нужно избавиться от этих страхов. Пойдем, маленький дикарь, оставь эту физиономию и не прячь голову под одеялами.

Надо много еще сделать в твоём образовании, и ты не накануне войны, мой прекрасный паж, Херувимы моего времени были более раскрепощенные, не то, что ты.

– Но мадам, это... что...

– Это потому, что тебе кажется странным видеть меня здесь, а не там, – сказала она, легко касаясь красных губ сво-

им белоснежными зубами и вслушиваясь в долгий и стройный звук своего барабанившего по стене пальца.

В самом деле, вещь не слишком правдоподобная, но, когда я тебе объясню, ты это поймешь гораздо лучше: достаточно знать, что тебе не угрожает опасность.

– Я полагаю, что вы не будете э... э...

– Дьяволом, говори прямо, не так ли? Это то, что ты имеешь в виду, или, по крайней мере, согласишься, я не слишком черная для дьявола, и если в аду люди дьявола поступают, как я, мы проведем здесь время так же приятно, как в раю.

Чтобы показать, что она не дуется на него, Омфала скинула с себя львиную кожу, и мне представилась возможность увидеть плечи и грудь совершенной формы и ослепительной белизны.

«Хорошо! Что ты сказал?» – спросила она немножко кокетливо, удовлетворенная победой.

– Я сказал, что, если вы действительно дьявол собственной персоной, я больше не боюсь, мадам Омфала.

– Но не называй меня больше ни мадам, ни Омфала. Я не хочу больше быть мадам для тебя, я не буду Омфалой и не буду дьяволом.

– Но кто же вы еще тогда?

– Я маркиза де Т... Спустя некоторое время после моего брака маркиз выполнил этот гобелен для моего дома и представил меня в костюме Омфалы; а он сам персонаж, чертами напоминающий Геркулеса. Это единственная идея, которую

он выразил там, однако, Бог его знает, никто в мире не казался менее Геркулесом, чем бедный маркиз. Долгое время эта комната была нежилой. Я, действительно, любила деревню, соскучилась до смерти, и у меня была мигрень. Быть со своим мужем – быть одной. Ты пришел, это меня обрадовало, эта мертвая комната ожила, я нашла себе какие-то занятия. Я смотрела на тебя, как ты приходил и уходил, слушала, как ты спал и смотрел сны; я следовала за твоим чтением. Я благодарна тебе за глоток воздуха, за что-то, что мне доставляло удовольствие: наконец, я полюбила тебя. Я пыталась, чтобы ты понял; я вздыхала, ты все время принимал меня за ветер; я делала тебе знаки, бросала на тебя томные взгляды, мне удалось только ужасно испугать тебя. Отчаявшись, я решила вернуться, что я и сделала, и честно рассказать тебе все, что ты не можешь понять с полуслова. Теперь ты знаешь, что я люблю тебя, я надеюсь, что...

Беседа длилась, когда шум ключа сделался слышным в замочной скважине. Омфала покраснела вплоть до своих светлых глаз.

«Прощай! – сказала она. – До завтра». И она вернулась к стене, двинулась в обратном направлении; страх, без сомнения, лишил меня возможности видеть невидимое. Это пришел Баптист, который искал мою одежду, чтобы почистить ее.

«Вы не правы, мосье, – сказал мне он, – что спите с открытыми шторами. Вы можете простудить голову. Эта ком-

ната холодна!»

В самом деле, занавеси были открыты; мне не казалось, что я находился во сне, я был очень удивлен, так как был уверен, что на ночь мы закрыли шторы.

Как только Баптист ушел, я побежал к гобелену. Я пощупал его со всех сторон; это был самый настоящий шерстяной гобелен ручной работы, сработанный, как все подобные ковры. Омфала казалась мне милым фантомом ночи, как смерть, напоминающая жизнь. Я приподнял изображение, стена была плотной; и не было ни скрытой панели, ни закулисной двери. Я сделал это замечание, потому что увидел нескольких молодых людей, поверженных на этом куске земли и лежавших у ног Омфалы. Это заставило меня задуматься.

Весь день я находился в ни с чем не сравнимом волнении; я ждал вечера одновременно с беспокойством и нетерпением. Я вернулся раньше обычного и решил посмотреть, как все закончится. Я улегся спать, маркиза не заставила себя ждать, она спрыгнула вниз на трюмо и перепорхнула прямо на мою постель; маркиза села на кровать, и разговор начался.

Как раньше, я задавал вопросы; я требовал объяснений. Некоторых она избегала, другие встречала уклончиво, но в таком духе, что через час у меня не было никаких сомнений по поводу моего романа с ней. Во все время разговора она пробегала своими пальцами по моим волосам, слегка ударяла меня по щекам и легко целовала в лоб. Она щебета-

ла, щебетала в забавной и сладкой манере, в несколько элегантно-фамильярном стиле, и все, что делала эта благородная дама, я никогда ни у кого не встречал.

Она сидела рядом с постелью; скоро она пробежала своими руками по моей шее, я почувствовал ее сердце, стучащее с большей силой, чем мое. Рядом со мной находилась реальная прекрасная и милая женщина, истинная маркиза. Бедный семнадцатилетний студент! Было от чего потерять голову; и, естественно, я ее потерял. Я не знаю точно, сколько прошло времени, но я смутно представлял, что все это не могло понравиться маркизу.

«И мосье маркиз, что он скажет по поводу этой стены?» – думал я.

Львиная кожа упала на землю, и ее нежно-лиловые котурны нежно заблестели серебром рядом с моими домашними туфлями.

«Он ничего не скажет, – проговорила маркиза, смеясь всем сердцем. – А если он увидит что-то? Как он увидит, если он ученый муж, самый безобидный в мире, это привычно для него. Ты меня любишь, малыш?»

– Да, очень, очень.

День пришел, моя возлюбленная ускользнула. Следующий день показался мне невероятно длинным. Наконец наступил вечер. Вещи происходили, как раньше, и вторая ночь ничем не отличалась от первой. Маркиза была все более и более восхитительной. Эта картина повторялась еще в те-

чение долгого времени. Как будто я не спал ночью, а весь день находился в сомнамбулическом состоянии, которое не казалось здоровым моему дядюшке. Он в чем-то сомневался, может быть, прислушивался к двери и все слышал, потому что в одно прекрасное утро он так внезапно вошел в мою комнату, что Антуанетта едва успела прибрать ее. За ним следовал работник с плоскогубцами и лестницей.

Дядюшка высокомерно и строго посмотрел на меня, и этот взгляд сообщил мне, что он знает все.

«Маркиза де Т... – это настоящая сумасшедшая, в ее голове живет сам влюбленный дьявол, – сказал мой дядя сквозь зубы, – однако она обещала вести себя умно! Жан,ними этот гобелен, сверни и вынеси его на чердак».

Каждое слово моего дяди ранило меня, как кинжал.

Жан свернул мою возлюбленную Омфалу, или маркизу Антуанетту де Т., вместе Геркулесом, или с маркизом де Т., и вынес их всех на чердак. Я не мог сдержать моих слез.

Завтра мой дядя осмотрительно отправит меня в Б... к моим уважаемым родителям, которым, как мы хорошо знаем, я ни слова не сказал о моем приключении.

Мой дядя умер; мы продали его дом и мебель; гобелен был, возможно, продан вместе с остальным добром.

Как всегда, по прошествии некоторого времени, направившись к торговцу-старьевщику, чтобы найти редкости, однажды я толкнул ногой огромный рулон, весь покрытый пылью и паутиной.

«Что это такое? – спросил я Уверната.

– Это гобелен эпохи рококо, который представляет любовь мадам Омфалы и мосье Геркулеса, это Бёве, все изображение отлично сохранилось. Купите у меня для Вашего кабинета; я не спрошу с вас очень дорого, потому что это для вас.

При имени Омфалы вся кровь прилила к моему сердцу.

«Разверните этот гобелен», – коротко и отрывисто сказал я торговцу, как будто в горячке.

Это была она. Мне показалось, что ее ротик грациозно улыбнулся мне и что ее глаза сверкнули навстречу моим.

– Сколько вы хотите?

– Но я не могу Вам отдать его меньше чем за четыреста франков, это будет справедливо.

– У меня их нет даже для меня. Я должен пойти, чтобы их найти; через час я буду здесь».

Я вернулся с деньгами; гобелена больше не было. Англичанин выторговал его во время моего отсутствия, заплатил за него шестьсот франков и увез.

В глубине души, может быть, я понимал: лучше, что так случилось, чтобы я сохранил цельным это милое воспоминание. Говорят, что не нужно возвращаться к месту первой любви и смотреть на розы, которыми мы восхищались встарь. И, кроме того, я больше не молод, я уже не тот красивый молодой человек, в честь которого гобелен сошел со стены.

Le nid de rossignols

Соловьиное гнездо

Вокруг замка находился прекрасный парк. В этом парке были птицы всех видов: соловьи, дрозды, певчие, и все птицы земли назначали в парке свидания⁷.

Весной это была необычная песня: каждый лист скрывал гнездо, каждое дерево было оркестром. Все маленькие крылатые музыканты соперничали, стремясь превзойти друг друга. Некоторые щебетали, другие ворковали, это были жемчужные трели и каденции, силуэт причуд или вышивка гладью: истинные музыканты не сыграли бы лучше.

Но в замке жили две прекрасных кузины, которые пели прекраснее всех птиц парка, их звали Флоретта и Изабель. Обе были красивы, грациозны и хорошо сложены, а по воскресеньям, когда они надевали нарядные платья, если бы белые плечи не показывали, что они реальные девушки, их вполне можно было принять за ангелов, не хватало только перьев. Когда они пели, их дядя, старый сэр де Молеврёр, иной раз держал их за руку, от страха, чтобы фантазия не унесла их в облака.

⁷ Новелла впервые опубликовано в декабре 1833 г. в сборнике для детей «Амулет» (1834). Книга предназначалась для подарков к Рождеству. Русский перевод: Готье Т. Избранные произведения. М., 1972, том. 1. В 1972 году новелла была издана в переводе Е. Гунста.

Я оставляю вам возможность вообразить, какие удары копий, карусели турниров устраивались в честь Флоретты и Изабель! Молва об их красоте и таланте прокатилась по Европе, однако они не стали больше гордиться собой, жили в уединении, видя немного людей, кроме маленького пажа Валентина, прекрасного ребенка с белокурыми волосами, и сэра Молеврёра, седого старика, сломленного, прожженного шестидесятилетним участием в войнах.

Они проводили время, кормя зерном маленьких птиц, произнося молитвы, но большую часть времени посвящали изучению произведений мастеров и повторяя вместе мотеты, мадригалы и другую музыку; еще у них были цветы, за которыми они ухаживали. Жизнь юных созданий текла в этих нежных и поэтических занятиях, они держались в тени и далеко от взгляда мира, однако мир был захвачен ими. Ни соловей, ни роза не могут скрыть себя: всегда выдают их пение и запах. Наши кузины были два соловья и две розы.

Герцоги и принцы приходили просить руки девушек, император Трапезунда и султан Египта отправили послов с предложением союза сэру Молеврёру, но две кузины и слышать не могли об этом. Может быть, какое-то чувство, тайный инстинкт подсказывал им, что их миссия на земле остаться девушками и петь; перед другими вещами сестры отступили.

В усадьбу их привезли совсем маленькими. Окно их комнаты выходило в парк, их убаюкивало пение птиц. Едва стоя

на ногах, они учились у старого Блондьё, назначенным сэром, касались нетронутых клавиш слоновой кости; у них не было другой забавы, они пели, прежде чем начали говорить, они пели, как другие дышат: это было их природой.

Образование необыкновенно повлияло на их характеры. Их гармоничное детство было не похоже на ураганное и словоохотливое детство других детей. Они никогда не хотели кричать или выражать негармоничные жалобы: они даже плакали и стонали созвучно, в унисон. Музыкальная мысль, развитая за счет утраты других вещей, сделала их очень восприимчивыми к тому, что не было музыкой. Они плыли в мелодических волнах и почти не видели реального мира, пребывая только в звуках. Они превосходно понимали шелест листвы, бормотание воды, звон часов, вздох ветра в дымоходе, гул прялки, дождевых капель, падающих на дрожащее стекло, – все внешние и внутренние гармонии, но они не испытывали, я должен сказать, большого энтузиазма при виде захода солнца и так же мало были способны оценить картину, как будто их прекрасные голубые и черные глаза были покрыты плотным покрывалом. Они были больны музыкой, мечтой; они потеряли охоту пить и есть и не любили никакие вещи в мире. Фактически они любили еще только Валентина и его розы. Валентина, потому что он был похож на розу, розы, потому что они напоминали Валентина. Но эта любовь была на втором плане. Правда, Валентину исполнилось только тринадцать. Их самым большим удовольствием было

петь вечером у окна музыку, сочиненную в тот же день.

Наиболее известные мастера пришли издалека, чтобы услышать их пение и состязаться с ними. Послушав девушек только раз, они сломали инструменты и разорвали партитуры, признав свое поражение. В самом деле, музыка сестер была такая приятная и мелодичная, что небесный Херувим сошел с креста и вместе с другими музыкантами выучил ее наизусть, чтобы спеть Богу.

Однажды вечером в мае две кузины пели мотет на два голоса. Никогда мотив его не был блаженнее, музыкальная партия не была более счастливо сработанной и отделанной. Соловей парка, скрывавшийся на розовом кусте, внимательно их выслушал. Когда они закончили, он приблизился к окну и сказал на соловьином языке: «Я хочу сразиться с вами в песне».

Две кузины согласились, и он должен был петь.

Соловей начал петь. Он был мастером среди соловьев. Его маленькое горло напряглось, его крылья сражались, все его тело дрожало: эти рулады не прерывались, трели, арпеджио, хроматические гаммы, его голос поднимался вверх и спускался вниз, звуки кружились, он источал каденции отчаянной чистоты: казалось, его голос был крыльями, то есть словно его телом. В сознании своей победы он остановился.

Послушали двух сестер, в свою очередь, они превзошли самих себя. Песня соловья казалась перед ними щебетом. Крылатый виртуоз попытался сделать последнее усилие, он

спел романс о любви, затем поразил их блестящей фанфарой, в которой засияли высокие, как цапля, ноты, вибрирующие и острые, выключенные из сферы любого человеческого голоса. Две кузины, не будучи напуганные этой силой, повернули скольжение голоса, руководствуясь нотной партитурой, и ответили соловью, так что Святая Цецилия, слушавшая их с высоты неба, стала бледной от зависти, и ее контрабас упал на землю. Несмотря на то что Соловей еще пытался петь, борьба себя полностью исчерпала: у него отсутствовало дыхание, его перья ошетинились, глаза закрылись. Он умирал.

«Выше пение лучше, чем мое, – сказал он двум кузинам, а гордость желанья превзойти вас стоила мне жизни. – Я прошу вас об одной вещи: у меня есть гнездо, в этом гнезде есть три малыша, это третий шиповник на большой дороге со стороны водоема. Возьмите их, воспитайте и научите петь, как вы, потому что я скоро умру».

Сказав это, соловей умер. Две сестры горько плакали над ним, потому что он хорошо пел. Они позвали Валентина, маленького пажа с белокурыми волосами, и сказали ему, где находится гнездо. Умный и резвый Валентин легко нашел место, прижал гнездо к груди и без помех принес его. Флоретта и Изабель на балконе с нетерпением ожидали его. Валентин вскоре прибыл, держа гнездо в руках. Три малыша высовывали головы, и все открывали большие клювы. Девушки сжалились над этими маленькими сиротами и покормили

каждый клюв по очереди. Когда птенцы немного подросли, они начали свое музыкальное образование, как сестры обещали побежденному соловью.

Было чудесно видеть, какие они были особенные, как хорошо они пели, как порхали по комнате, а иногда сидели на голове Изабель или на плече Флоретты. Их музыка возникла до нотной грамоты, и, должен вам сказать, они, правда, знали расшифровку белых и черных нот в умных ариях. Они изучили все арии Флоретты и Изабель и начали импровизировать сами с красивой силой.

Две кузины жили все более и более одиноко, и однажды вечером из их комнаты донесся звук сверхъестественной мелодии. Блестящие виртуозы, соловьи приняли участие в концерте и пели почти так хорошо, как их учительницы, которые добились в пении большого прогресса. Их голос ежедневно брал ноты чрезвычайной чистоты; вибрировал чистым металлом, превышал диапазон естественного голоса. Но на девушек было страшно смотреть, красивые цвет их лиц погас, они бледнели, как агаты, и стали почти прозрачными. Сэр Молеврёр хотел прекратить пение, однако не мог запретить им.

Как только они произнесли несколько фраз, маленькое красное пятно нарисовалось на их скулах, и расширилось, пока они не закончили пение, затем пятно исчезло, но холодный пот капал с их кожи, губы дрожали, как если бы они схватили лихорадку. Добавлю, их пение было таким краси-

вым, как никогда, это было что-то не от мира сего, и, услышав звучный и мощный этот голос, исходящий от двух хрупких девочек, было нетрудно предсказать, чем все закончится, что музыка сломает инструмент.

Они сами поняли, что утратили возможность петь, и начали играть на верджинале. Но однажды ночью окно было открыто, птицы щебетали в парке, ветер гармонически вздохнул, и было так много музыки в воздухе, что они не смогли сопротивляться искушению запустить дуэт, который составили в старину.

Это было лебединой песней, чудесной песней, дрожавшей слезами, суммой тех самых недоступных светильников гаммы, спускающихся вниз диапазоном нот последней степени, что-то игристое и неслыханное, потоп трелей, целующий дождь хромматики, огонь невозможного, неопишуемого музыкального фейерверка, однако маленькое красное пятно росло и охватило почти все щеки. Три соловья смотрели и слушали с особой тревогой; у них заныли крылья, они улетали и возвращались и не могли удержаться на месте. Наконец, сестры исполнили последнюю фразу фрагмента, их голос взял звук столь странный по окраске, что было легко понять: это не было больше пением живых существ. Соловьи захотели улететь. Две кузины умерли, их души оставили последнюю ноту. А соловьи вознеслись на небо, чтобы спеть их песню Богу, который хранит всех в раю, чтобы для Него исполнить музыку двух кузин.

Позже трех соловьев Господь превратил в души Палестрины⁸, Чимарозы⁹ и кавалера Глюка¹⁰.

1833

⁸ Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1525—1594) выдающийся итальянский композитор, полифонист эпохи Ренессанса. Какое-то время жизни был директором певческой капеллы при церкви. Палестрина писал в основном именно вокальную многоголосую музыку. Возможно, биография Палестрины отразилась в сюжете новеллы Готье «Любовь после смерти». После того как Палестрина потерял умерших от чумы жену и троих детей, Палестрина хотел стать священником, однако этому не суждено было случиться, так как накануне рукоположения он повстречался с одной состоятельной вдовой, которая в 1581 году стала его второй женой.

⁹ Доменико Чимароза (1749—1801) – итальянский композитор, одна из центральных фигур в комической опере. Чимароза посетил Россию, а именно Санкт-Петербург, в 1787 году, где обучал музыке внуков Екатерины II. Его оперы были поставлены в Эрмитаже и в Гатчинском дворце. В русский период жизни прославился как певец, клавесинист, автор сонат и камерных произведений. Павел I был крестным отцом его сына Паоло. Уехал из России в июне 1791 года. Автор около 80 опер, один из ведущих представителей оперы-буффа. Богато и его вокально-инструментальное наследие.

¹⁰ Кристоф Виллибальд Глюк (1714 —1797) – австрийский композитор, преимущественно оперный (опера-серия) Лучшая опера Глюка – «Ифигения в Тавриде». Ж. Гудон изваял беломраморный бюст композитора с надписью на латыни: «Musas praeposuit sirenis» («Он предпочел сиренам муз»). Очевидно, все три композитора для Т. Готье похожи на персонажей его новеллы, потому что безгранично преданы своему искусству.

La morte amoureuse

Любовь смертной

Вы меня спрашиваете, брат, любил ли я; да.

Это особенная и ужасная история и, хотя мне сейчас шестьдесят шесть, я едва осмеливаюсь коснуться пепла этого воспоминания. Я не хочу ни в чем вам отказывать, но я не стал бы испытывать душу подобной историей. События столь странные, что я не могу поверить, что это произошло со мной. Прошло уже около трех лет с момента, как я был игрушкой этой единственной в своем роде и дьявольской иллюзии. Я, бедный деревенский священник, проводил все ночи (дай Бог, что это происходило во сне!) в проклятой жизни, жизни мирской и страстной (развратной). Один взгляд, слишком полный обожания, кинул я на женщину, думаю, по причине потерянности моей души, но в конце концов, с помощью Бога и моего святого покровителя мне удалось изгнать злого духа, который овладел мной. Мое существование ночью было сложной жизнью совершенно особого рода. Днем я был священником Господа и целомудренно занимался молитвой и святыми дарами, а ночью, когда я закрывал глаза, я превращался в молодого синьора, знатока женщин, собак и лошадей, игравшего в кости, пьяницу и богохульника, а, когда вставала заря и я просыпался, мне казалось, напротив, что я сплю и что я вижу сон о том, что стал священником. Эта сомнамбулическая жизнь оставила во мне вос-

поминания о предметах и словах, которыми я не мог себя защитить, хотя я никогда не покидал пределов моей пресвитерии; скорее, кажется, я был земным человеком, который воспользовался всеми доходами и миром, входил в религию и мечтал закончить слишком беспокойные дни на груди Бога, нежели смиренным семинаристом, который превратился в кюре в глубине леса, без какого-либо сообщения со своим веком.

Да, я любил, как никто мире любить не может, любовью бессмысленной и яростной, неистовой, которой я был поражен так, что она едва не разорвала мое сердце. Ах! Какие ночи! Какие ночи! С самого милого моего детства я чувствовал стремление стать священником, все мои занятия также были направлены к этому, и вся моя жизнь, до 24 лет, не была ничем, как долгим послушанием.

Моя теология закончилась, я успешно последовательно прошел через все маленькие предписания, и мои наставники считали меня достойным, несмотря на то что я был очень юн и хрупок, последнего посвящения. День моего рукоположения совпал с Пасхальной неделей.

Я никогда бы не пошел в мир, мир ограничивался для меня колледжем и семинарией. Я смутно представлял себе нечто, что мы называем женщиной, но я останавливал на этом мою мысль; я был совершенно невинен. Я видел мою старую и больную мать не более двух раз в году. Это были все мои взаимоотношения с внешним миром.

Я не сожалел ни о чем; я не колебался под влиянием этого безотзывного обязательства; я был полон радости и нетерпения. Никогда юный жених не считал часы с более лихорадочным оживлением; я не спал, мечтая, что скажу на мессе; быть священником — я не видел ничего более прекрасного в мире: я бы отказался быть царем или поэтом. Мои амбиции не простирались далее.

Все это я говорю для того, чтобы показать вам, каким образом я пришел к тому, к чему пришел, как я стал жертвой непостижимой чары.

Настал великий день, когда я отправился в церковь. Я шел так легко, что мне казалось, словно меня нес воздух или что у меня на плечах крылья. Я казался себе ангелом, я изумлялся темным физиономиям озабоченных моих товарищей, ведь нас было несколько. Я провел ночь в молитвах, находясь в состоянии почти экстаза. Епископ, почтенный старик, напоминал мне Бога Отца, склоненного к своей Вечности, и я видел небо через своды храма.

Вам знакомы детали этой церемонии: благословение, приращение двух видов, помазание ладоней рук маслом оглашенных, и наконец, святая жертва, приносимая епископом. Я не буду на этом останавливаться. О! Иов прав, что неосторожен тот, кто не заключает договор своими глазами! Случайно я поднял мою голову, которая до сих пор была склоненной, и увидел перед собой, так близко, что я мог ее коснуться, хотя на самом деле она была на большом расстоянии

от меня, с другой стороны балюстрады, молодую женщину редкой красоты, по-королевски великолепно одетую.

Это было, как будто пелена упала с моих глаз.

Я почувствовал себя слепцом, который вдруг вновь обрел зрение. Епископ, все время сиявший, вдруг погас, побледнели свечи в своих золотых подсвечниках, как звезды утра, и вся церковь погрузилась в совершенную темноту. Очаровательное создание выделялось в глубине тению, как ангельское откровение; оно словно освещало само себя и скорее отдавало свет, чем вбирало.

Я опустил глаза, твердо решив больше не поднимать взгляда на то, что меня выбивало из колеи, на внешние объекты; потому что я все более и более вовлекался, и я уже не знал, что я делаю.

Минуту спустя я открыл глаза, так как увидел ресницы, сверкающие всеми цветами спектра, так в пурпуровых сумерках мы смотрим на солнце.

Ох! Как она была прекрасна! Самые большие художники, преследуя в небе идеальную красоту, не могли бы сообщить земле божественный портрет Мадонны, даже не приблизились бы к невероятной реальности. Стихи поэтов, палитра живописцев не могли передать ее взгляд. Она была настолько огромна, размерами и осанкой с богиню; ее волосы, нежные русые волосы, разделялись на макушке и бежали, как два золотых потока; так можно сказать о королеве с ее диадемой; ее лоб, голубовато-белый и прозрачный, лежал широ-

ко и спокойно между двумя почти коричневыми дугами ресниц. Какие глаза! их свет решал судьбу человека; они имели жизнь, прозрачность, пыл, сверкающую влажность, чего я никогда не видел в человеческих глазах; они бежали лучами, подобными стрелам, и я отчетливо видел, как они достигали моего сердца. Я не знал пламени, которое бы сияло с неба или из ада, но был уверен, что она пришла из первого или второго мира. Эта женщина была ангелом или демоном, а может быть, двумя сразу; она не являлась, конечно, олицетворением Евы, всеобщей матери. Ее белейшие восточные зубы сверкали в румяной улыбке; ее маленькие ямочки прорезывались каждой черточкой в розовом атласе ее очаровательной щеки. Что касается носика, он был тонок и казался гордостью всего королевства, показывая самое благородное происхождение. Блестящий агат играл на гладкой сияющей коже ее полуоткрытых плеч; ряды огромных белых жемчужин, почти такого же оттенка, как шея, спускались на ее грудь. Время от времени она двигала головой с волнообразным движением змеи или павлина, который важно и с легким холодком покачивает высоко поднятой головой в свежей вышивке воротника, похожего на серебряную шпалеру. Она была одета в бархатное платье пасарат, и его огромные, подбитые горностаем рукава спускались с бесконечной тонкостью к длинным и пухлым идеально прозрачным пальцам; в нем они пропускали дневной свет, как Аврора.

Все эти детали еще присутствуют во мне так, словно они

виделись вчера, хотя я был в крайнем смущении, ничто от меня не ускользнуло: самый легкий нюанс, самая черная точка в углу подбородка, незаметный пушок по углам рта; бархатистость лба, дрожащая тень ресниц на щеках – я охватывал все с поразительной ясностью.

Пока я смотрел, я чувствовал, как будто открывались во мне прежде закрытые двери, двери растворялись во всех направлениях и распахивали неизвестные перспективы; жизнь являлась мне в новом ракурсе; я почувствовал рождение мыслей нового порядка. Страшная тоска охватила мое сердце; каждая минута, которую я проводил, казалась мне секундой и веком. Церемония продолжалась, и я далеко ушел из мира рождавшихся моих желаний, так яростно осаждавших вход. Однако я сказал *да*, когда я хотел сказать *нет*, все во мне восстало и запротестовало против насилия, которое мой язык совершал над моей душой: оккультная сила оторвала меня, несмотря на усилия горла. Со мной, может быть, было то, что делают многие юные девушки, с твердым желанием отказаться от блестящего мужа, которого им навязывают, и ни одна не выполняет своего замысла. Это, без сомнения, то, что совершают некоторые бедные послушники, принимая постриг, хотя они хорошенько решили порвать с миром в момент произнесения обета. Мы не можем вызвать скандал перед всем светом, не обманув ничьих ожиданий; все это добровольно, все взгляды вам кажутся тяжелыми, как свинец; и потом за такую крупную плату, все это

установлено заранее, в некотором смысле безвозвратно, так что мысль уступает массе вещи и полностью разрушается.

Взгляд прекрасной незнакомки изменил выражение, в соответствии с переменной в церемонии. Нежность и ласковость, которые были сначала на поверхности, теперь носились в воздухе недовольством, словно непонятые.

Я сделал огромное усилие, чтобы сдвинуть гору, для того чтобы описать, что я не хотел бы быть священником; но я не смог справиться; мой язык оставался прибитым к небу; и я не смог изъяснить мою волю даже самым легким отрицательным движением. Я бодрствовал в этом состоянии, как будто в кошмаре, когда вам хочется закричать слово, от которого зависит ваша жизнь, не будучи в состоянии сделать это.

Ей казалось разумным страданием то, что я проявлял, и, чтобы придать мне смелости, она бросила на меня взгляд, полный дивных обещаний. Ее глаза были стихотворением, в котором каждый взгляд нес мелодию.

Она сказала мне:

«Если ты захочешь быть со мной, я тебя сделаю более счастливым, чем сам Бог в своем раю; ангелы будут завидовать тебе. Разорви траурную пелену, в которую ты обернут; я красота, я юность, я жизнь; приди ко мне, мы будем любовниками. Что может открыть тебе Иегова взамен? Наше существование будет бежать, как сон, поцелуем вечности.

«Налей вина из этой чаши, и ты свободен. Я перенесу тебя на неизвестные острова; ты уснешь на моей груди, в огром-

ной золотой постели серебряного павильона; так как я люблю тебя и хочу тебя перенести к твоему Богу, рядом с которым так благородны сердца, наполненные потоком любви, которые сами не могут прийти к Нему».

Мне казалось, я слышу эти слова в ритме бесконечной нежности; так как ее взгляд почти звучал; фразы, которые раздавались в глубине моего сердца, как если бы невидимый рот вздыхал в моей душе. Я почувствовал себя готовым отказать от Бога, однако мое сердце механически исполнило формальности церемонии. Красавица кинула на меня второй взгляд, то ли умоляющий, то ли взгляд отчаяния, так что слезы пронзили мое сердце, и я почувствовал больше кинжалов в груди, чем страдающая Богоматерь.

В самом деле, я был рукоположен.

Никогда человеческое лицо не отображала такую горькую тоску: юная девушка, видящая внезапно падающим замертво своего жениха; мать у пустой колыбели своего ребенка; Ева, сидящая у порога дверей рая; скупец, нашедший камень вместо своего сокровища; поэт, оставивший скомканную огнем уникальную рукопись самого прекрасного произведения, был бы не более потрясен и безутешен. Кровь совершенно застыла в ее очаровательной фигуре, и, должно быть, она была белее мрамора; ее прекрасные руки были опущены вдоль ее тела, как будто мускулы ее были расслаблены; она прислонилась к колонне, потому что ее ноги были согнуты и скрыты колонной.

Синевато-багровый лоб мой был залит потом, более кровавым, чем на Голгофе; я направлялся к церковной двери; я задыхался; своды словно опустились мне на плечи, казалось, что моя голова держит на себе вес купола.

Когда я собирался пересечь порог, рука вдруг схватила меня; женская рука! Никто никогда не касался меня. Она была холодной, как кожа змеи, и след от нее горел, как отметина от раскаленного железа. Это была она.

– Несчастный! несчастный! что ты делаешь? – сказала мне она низким голосом; потом исчезла в толпе.

Прошел старый епископ; он строго посмотрел на меня. Со мной сделалась самая странная в мире перемена; я побледнел, покраснел, покрылся пятнами. Один из моих товарищей пожалел меня, поддержал и повел; я был не в состоянии найти дорогу в семинарию. На углу улицы, в тот момент, пока молодой священник повернул голову в другую сторону, странно одетый негритянский мальчик приблизился ко мне и протянул мне, не останавливая движения, маленькое портмоне с золотыми краешками в уголках; он сделал мне знак спрятать его, я сунул портмоне за свой рукав, пока не остался один в моей комнате. Я попытался отстегнуть застёжку, и там не было ничего, кроме двух листочков со словами: «Кларимонда, во дворце Кончини». Я был тогда мало осведомлен в жизненных делах, я не знал Кларимонды, несмотря на ее известность, и, что я совершенно не знал, так это где находится дворец Кончини. Я делал тысячи предпо-

ложений, самых разных, самых экстравагантных; но, в самом деле, до тех пор, пока я не увидел ее снова, я гадал, была ли она благородной дамой или куртизанкой.

Невозможно было уничтожить корни этой любви; я даже не думал пытаться порвать с ней, так как я чувствовал, что это была вещь невозможная. Эта женщина полностью захватила меня; одного только взгляда было достаточно, чтобы меня изменить; она заставляла меня дышать по ее воле; я больше не принадлежал себе, жил только для нее и в ней. Я совершал тысячу экстравагантностей, я целовал мою руку в том месте, где она коснулась, я повторял ее имя часами напролет. Я не мог ничего, только закрывал глаза, чтобы отчетливо представить, что она существует в реальности, и я заново повторял слова, которые она говорила мне под покровом церкви: «Несчастный! несчастный! что ты делаешь?» Я понял весь ужас моей ситуации, и мрачное и ужасное положение, в которое я вступил целованием, теперь показалось мне ясным. Быть священником! Быть целомудренным в речах, не любить, не различать ни пола, ни возраста, отворачиваться от всей красоты, закрыть глаза, скрыться в тени ледяного монастыря или в церкви, не видеть никого, кроме умирающих, бодрствовать при незнакомых трупах и носить на себе скорбь своей черной сутаны, разновидность того, что делает вашу одежду драпировкой вашего гроба!

Я почувствовал, что жизнь поднимается во мне, как внутреннее озеро, которое надувается и переливается через край;

моя кровь с силой застучала в моих артериях; моя молодость, так долго сдерживаемая, взорвалась одним ударом, словно алое, хотевшее зацвести столетие и вдруг открывающееся ударом грома.

Что сделать, чтобы снова увидеть Кларимонду? Не зная никого в городе, я не знал, чем могу оправдать свой выход из семинарии; мне ничего не оставалось, я просто ждал, что кюре покажет мне место, которое я должен занять. Я попытался распечатать решетки окна, но они были на такой сокрушительной высоте, что нельзя было об этом и думать. Кроме того, я не мог спуститься иначе, чем ночью: кто бы меня провел через запутанный лабиринт улиц? Все эти трудности ничего не значили для других, но были огромны для меня, бедного семинариста, вчерашнего влюбленного, без опыта, без денег и без платья.

Ах! Если бы я не был священником, я мог бы видеть ее ежедневно, я был бы ее любовником, ее мужем, — говорил я себе в своем ослеплении; вместо того чтобы быть облаченным в мой печальный саван, я одевался бы в шелк и бархат, с золотыми цепями, мечом и перьями, как прекрасные юные рыцари. Мои волосы, вместо того чтобы быть обесцвеченными постригом, играли бы вокруг моей шеи развевающимися кудрями. У меня были бы красивые гладкие усы, я был бы храбр. Но час перед алтарем, и всего несколько слов разделили меня с числом живых, и я сам запечатал камнем свою могилу, я своей рукой запер засовы моей тюрьмы!

Я стоял у окна. Небо было восхитительно голубым, деревья надели свои весенние одежды; природа устроила парад иронической радости. Площадь была полна народа; одни уходили, другие приходили; молодые люди и юные красавицы пара за парой направлялись в сторону сада и беседок. Товарищи шли, напевая застольные песни, это были движение, жизнь, бодрость, веселость, которые я воспринимал болезненно из-за моей печали и моего одиночества. Юная мать у двери играла со своим ребенком; она целовала дитя в маленький розовый ротик с еще не просохшими жемчужинами молока, и он делал, досадуя, тысячу божественных движений, которые знает только одна мать. Отец, державшийся на некотором расстоянии, нежно улыбался этой милой группе и, скрестив руки, сдерживал свою радость в сердце. Я не мог участвовать в этой сценке и закрыл окно; я бросился на мою кровать с ненавистью и жестокой ревностью в сердце, сжимая моими пальцами одеяло, как молодой тигр.

Не знаю, сколько дней оставался я так, но, повернувшись в яростном движении, я увидел аббата Серапиона, который стоял в центре комнаты и внимательно на меня смотрел.

Мне стало стыдно за самого себя, и моя голова упала на грудь; я закрыл глаза руками.

«Ромуальд, мой друг, с вами произошло что-то невероятное, – сказал мне Серапион после нескольких минут молчания. – Ваше поведение в самом деле необъяснимо! Вы, такой благовоспитанный, спокойный, тихий, двигаетесь по вашей

комнате, как дикое животное. Будьте на страже, мой брат, и не слушайте предложений дьявола; злого духа, блуждающего, чтобы вы никогда не посвятили себя Господу; он рыщет вокруг вас, как обольстительный волк, и делает последнее усилие, чтобы отвлечь вас от Бога. Вместо того чтобы сражаться, мой дорогой Ромуальд, сделайте себе нагрудную молитву, смертоносный щит, доблестно сражайтесь с врагом, и вы его победите. Для испытания необходимы святость и золото из тонкой купели. Не пугайтесь и не теряйтесь; лучшие души, хранимые и твердые, переживали такие моменты. Молитесь, поститесь, медитируйте, и злой дух вас оставит».

Речи аббата Серапиона заставили меня вернуться к самому себе, и я стал немного более спокойным. «Я вам объявляю о вашем назначении кюре де ***, вместо аббата, который только что умер, и монсеньор епископ попросил меня вас ввести, будьте готовы завтра». Я ответил кивком головы, что буду готов, и аббат ушел. Я открыл мой молитвенник и начал читать молитвы, но буквы в моих глазах скоро стали путаться, нити мыслей смешались в моем мозге, молитвенный том скользнул из моих рук, и я не сумел его удержать.

Уехать завтра безвозвратно! присоединить к этому еще всю невозможность того, что уже было между нами! потерять несбыточную надежду чудом встретиться! Писать ей? Кому я должен отправить мое письмо? Со святостью, в которую я облачился, кому довериться, кто бы ею возгордился?

Я чувствовал ужасную тревогу. После того как аббат Се-

рапион сказал мне о кознях дьявола, память вернулась ко мне; странность приключения, сверхъестественность красоты Кларимонды, фосфорический свет ее глаз, жар прикосновения ее руки, несчастье, в котором она меня оставила, внезапная перемена, которая имела место, — мое благочестие исчезло в одно мгновение, — все это ясно доказывало присутствие дьявола, этой руки сатаны, может быть, только перчатки, которая скрывала его когти. Эти мысли бросили меня в состояние испуга, я поднял молитвенник, который упал с колен на землю, и погрузился в молитвы.

На следующий день Серапион пришел за мной, два мула ждали нас у двери, мы снарядили наш скудный багаж, он взял одного, я другого такого же. Проходя по улицам города, я смотрел на всех жильцов в окнах и на балконах, и не видел Кларимонду; но было раннее утро, и город еще не открыл глаза. Мой взгляд пытался нырнуть за шторы окон и занавеси дворцов, перед которыми мы проходили. Серапион, без сомнения, отнес мое любопытство к восхищению, которое вызвано красотой архитектуры, так что он замедлил шаги, чтобы дать мне время все осмотреть. Наконец мы пришли к городским воротам и стали подниматься на холм. Когда я был на вершине, я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на место, где жила Кларимонда. Тень облака полностью покрыла город; его голубые и красные крыши утопали в основном полутоне, где здесь и там, как белые хлопья пены, нырял утренний дым. Из-за странного оптического эффекта,

были видны поразительные белые и золотые лучи света; здание, которое превосходило по высоте соседние, полностью тонуло в облаке; хотя оно находилось на расстоянии лье, казалось таким близким. Мы разглядывали малейшие детали, башенки, платформы, перекрестки, даже флюгера с металлическим хвостами.

«Что это за дворец, который я вижу вон там, сияющий в лучах солнца?» – спросил я Серапиона. Он поднес свою руку к глазам и, посмотрев, ответил мне: «Это старый дворец, который принц Кончини подарил своей куртизанке Кларимонде; там происходят неслыханные вещи».

В этот момент я еще не знал, реальность это или иллюзия, я полагал, что увидел скольжение по террасе тонкой белой фигуры, она сверкнула и исчезла. Это Кларимонда!

Ах! Знала ли она, что в тот час на верхушке дороги, отдалявшей меня от нее, на которую я не должен был более ступать, пламенный и тревожный, я смотрел на дворец, в котором она жила, и ничтожная игра света, казалось, приближалась ко мне, словно приглашая меня войти? Без сомнения, она ее знала, так как ее душа настолько сочувственно связана была к моей, что должна была пережить малейшее колебание; и это чувство толкало ее в еще развевающейся вуали ночи, подняться на высоту террасы в замороженной росе утра.

Тень играла во дворце, это был неподвижный океан крыш и чердаков, где не было ничего, кроме гороподобных волн. Серапион коснулся своего мула, мы были готовы продол-

жить наше движение, и поворот дороги навсегда скрыл от меня город С., так как я не должен был в него вернуться. Через три дня пути по печальной дороге мы увидели сквозь деревья гребень колокольни, в которой я должен был служить; и, двигаясь несколькими извилистыми улицами, с соломенными домиками и дворами, мы оказались перед фасадом, который не отличался великолепием. Крыльцо украшали несколько решеток и две или три колонны из грубого необработанного камня; черепичная крыша и сами стены были из песчаника, такие же, как и столбы и это все: слева кладбище, полное высоких трав, с огромными железными крестами посередине; справа и в тени церкви стоял дом священника. Дом был обставлен просто и аскетично.

Мы вошли; несколько кур клевали на земле редкие зерна овса; они так привыкли к черным одеждам, что не обратили на нас никакого внимания и необычайно просто позволили нам пройти. Раздался колючий и хриплый лай, и мы увидели старую собаку. Это была собака моего предшественника. Глаза, серая шерсть и все повадки указывали на самый преклонный возраст, которого может достигнуть собака. Я нежно погладил ее рукой, и она также прошла рядом со мной с чувством непередаваемого удовлетворения. Пожилая женщина, которая была экономкой старого кюре, также вышла нам навстречу и, после того как мы вошли в низкую залу, спросила меня, намерен ли я оставить ее в доме. Я ей ответил согласием; она, и собака, и куры, и вся обстановка, кото-

рая осталась после смерти аббата, приняли меня с радостью, аббат Серапион дал за все желаемую цену.

Мое введение в должность аббат Серапион закончил в семинарии. Я остался один и без какой-либо поддержки, кроме самого себя. Я постоянно был одержим мыслью о Кларимонде и с трудом мог управлять собой. Однажды вечером я прогуливался по обрамленной буками аллее моего маленького сада, и, как мне показалось, видел в беседке силуэт женщины, который следила за всеми моими движениями, и между листьями сверкнули два глаза цвета морской волны; но это было не более, чем иллюзией, и, перейдя на другую сторону аллеи, я не мог найти ничего, кроме следов на песке, таких маленьких, что можно было сказать о принадлежности их ребенку. Сад был окружен очень высокими стенами; я посетил в нем все уголки и закоулки, там никого не было. Я никогда не мог объяснить этих обстоятельств, которые были ничтожны, по сравнению со странными вещами, которые должны были произойти со мной. В течение целого года я жил так, выполняя свои обязанности перед моим отечеством, молился, служил, увещевал и оказывал помощь больным, раздавая милостыню, оставляя себе деньги лишь на самое необходимое. Но я чувствовал внутри себя крайнее бездушие, и источники благодати были закрыты для меня. Я не радовался счастью, которое дает завершение святой миссии, моя идея была в другом, и слова Кларимонды, как произвольный мотив, часто приходили мне на уста. О брат, хоро-

шенько задумайтесь об этом! Подняв глаза на женщину всего один только раз, чувствуя ошибку столь легкого ее появления, в течение нескольких лет я расплачивался опытом самых ничтожных волнений: моя жизнь никогда не была такой сомнительной. Я не буду Вас долго томить, рассказывая о деталях и внутренних победах, всегда следовавших за более глубоким повторением грехов, сразу перейду к решающему моменту. Однажды ночью в мою дверь постучали. Старая служанка пошла отворять, и под лучами фонаря я увидел богато одетого человека, в платье медно-красного оттенка, но по меркам иностранной моды, с длинным кинжалом. Ее первым движением был страх, но человек успокоил ее и сказал, что ему необходимо видеть меня на месте, для чего-то, в чем заключалось мое служение. Варвары воспитали его. Я собирался лечь в постель. Человек мне сказал, что его госпожа, очень благородная дама, при смерти и призывает священника. Я ответил, что готов последовать за ним, я взял с собой все необходимое для соборования и в спешке вышел. У дверей нетерпеливо топали две черные, как ночь, лошади, и из груди они выдыхали два потока дыма. Он поддержал мне стремя и помог взобраться на одну, потом вскочил на другую лошадь, нажав одной рукой на излучину седла. Он сжал колени и направил свою лошадь, которая двигалась, как стрела. Моя лошадь, которую я держал за поводья, пошла галопом, и мы держались совершенно равно. Мы пожирали глазами дорогу; земля была под нами се-

рая и искореженная, и черные силуэты деревьев пробегали, как разгромленные орудия. Мы продвигались через темный лес, настолько мрачный и такой холодный, что я чувствовал, как по моей коже бежит дрожь суеверного ужаса. Из-под копыт сыпались искры, подковы лошадей ломали камни, оставленные на нашем пути, как след огня; и, если бы кто-то в этот ночной час нас увидел моего проводника и меня, мы напоминали бы двух освещенных призраков с лошадьми из кошмарного сна. Огоньки время от времени пересекали дорогу, и галки жалобно кричали в толще деревьев, где далеко-далеко сверкали фосфорические глаза какой-то дикой кошки. Гривы лошадей были все более и более растрепанными, с их боков струился пот, их шумное дыхание сдавливало им ноздри. Но когда мой спутник увидел, что они пошатнулись, чтобы придать им сил, он издал гортанный крик, в котором не было ничего человеческого, и началась яростная гонка. Наконец вихрь прекратился; черное пространство осветилось несколькими яркими пятнами, вдруг очутившимися перед нами; шаги наших лошадей на металлической поверхности зазвучали более громко, и мы въехали под арку, которая открыла свой огромный рот между двумя огромными башнями.

Большое оживление царствовало в замке; слуги с факелами в руках двигались через двор в разных направлениях, свет поднимался и спускался туда и сюда. Я был поражен великолепной архитектурой, колоннами, аркадами, пролетами

и рампами, светом конструкций, придававшим всему царственность и сказочность. Негритенок-паж, тот самый, который был послан Кларимондой (я мгновенно его узнал), помог мне спуститься, и передо мной появился мажордом, одетый в черный бархат с золотой цепью на шее и тростью слоновой кости в руке. Крупные слезы текли из его глаз и широко бежали по щекам на белую бороду. «Слишком поздно! – сказал он, качая головой, – слишком поздно! синьор священник; но, если вы не могли спасти душу, пойдите и посмотрите на бедное тело». Он взял меня за руку и сопровождал в печальную залу; я плакал также сильно, как он, так как понял, что та умирающая не кто иной, как Кларимонда, так безумно любимая. Аналой был помещен рядом с кроватью; голубоватое пламя колебалось на бронзовой подставке, бросавшей через комнату бледный робкий свет; то тут, то там мерцал выступающий край шкафа или карниза. На столе, в резной вазе, дрожала белая роза, чьи лепестки, кроме одного, который еще держался, все упали к подножию вазы, как благоуханные слезы; черная сломанная маска, веер, разного рода маскарадная одежда висела на стульях, и можно было видеть, что смерть пришла в это роскошное жилище внезапно и без предупреждения. Я опустился на колени и побоюсь посмотреть на постель, пламенно я начал читать псалмы, благодаря Бога, что Он поместил могилу между мыслями этой женщины и мной, чтобы я мог присоединить мои молитвы к Его имени и освятить их службой. Но понемногу

этот импульс угасал, и я впал в задумчивость. Эта комната словно и не была комнатой смерти. Вместо зловонного, трупного воздуха, которым я привык дышать во время траурных бдений, я ощущал томное курение восточных эссенций, или, я не знаю, какой, любовный женский запах нежно плыл в тепловатом воздухе. Этот бледный свет выглядел наполовину предназначенным для желтого отражения ночника, который дрожал рядом с телом. Я думал о том странном и единственном в своем роде шансе, который вернул мне Кларимонду в тот момент, когда я потерял ее навсегда, и вздох сожаления пробежал по моей груди. Мне показалось, что позади меня тоже вздохнули, и я невольно обернулся. Это было эхо. В этот момент мой взгляд упал на парадную постель, смотреть на которую до сих пор я избегал. Красное дамасское полотнище с большими цветами, отделанное золотом, своей формой передавало облик покойницы, лежащей во всю длину с руками, соединенными на груди. Тело было покрыто льняным полотном ослепительной белизны, еще более выделявшимся на фоне темного пурпура и таким тонким, что оно не скрывало прекрасную форму тела и позволяло следовать за прекрасными линиями, изогнутыми, как шея лебедя, которого не заставит одеревенеть сама смерть. Можно сказать, словно это была алебастровая статуя, сделанная каким-то умелым скульптором, предназначенная для установки на могиле королевы или юной девушки, заснувшей под снегом.

Я не мог более сдерживаться; воздух алькова опьянял меня, лихорадочное чувство наполовину увядшей розы бросилось в голову, большими шагами я ходил по комнате, всякий раз останавливаясь перед пьедесталом, чтобы понять, мертва ли девушка в прозрачности ее савана. Станные мысли пронзали мой дух; я заключил для себя, что она не в реальной смерти и что это отвлекающий маневр, который она использовала, чтобы заполучить меня в замок и насладиться своей любовью ко мне. В это самое мгновение мне показалось, что я увидел перемещение ее ноги в белом покрывале, нарушившее правильные складки пелены.

И потом я сказал себе: «И это действительно Кларимонда? Что это доказывает? Может быть, этот черный паж был послан совсем другой женщиной? Я был безумен в своем переживании, меня все это слишком потрясло». Но мое сердце ответило мне сердцебиением: «Это точно она, это точно она». Я приблизился к постели и посмотрел на нее с пристальным вниманием. Признаться ли вам? это совершенство форм, хотя очищенных и освященных тенью смерти, смущало чувственно более, чем должно было, и этот отдых казался сном, который представляется нам искусственным. Я забыл, что пришел туда для похоронного обряда, и я представил, что был юным мужем, вошедшим в комнату невесты, которая из скромности спрятала свое лицо и не хотела, чтобы ее увидели. Погрузившись в страдания, вне себя от радости, дрожа от страха и удовольствия, я приблизился к ней

и взялся за край простыни; я неторопливо его поднял, замедлив дыхание и боясь проснуться. Мои артерии пульсировали с такой силой, что я почувствовал свист в моих висках, пот капал с моего лба так, как будто я оживил мраморную плиту. Это была в самом деле Кларимонда, которую я видел в церкви во время моего рукоположения; она была так же прекрасна, как и тогда, и смерть ее казалась кокетством. Бледность ее щек, менее ярко-розовые губы, длинные опущенные ресницы, резная коричневая их бахрома на фоне этой белизны создавали невероятную экспрессию, придававшую ей целомудренную меланхоличность и властную обольстительность задумчивого страдания; ее распушенные длинные волосы, кое-где убранные какими-то маленькими голубыми цветочками, приколотыми за ухом, защищали кудрями обнаженные плечи; ее прекрасные руки, чистейшие, светящиеся более, чем их хозяйка, пересекались в позе набожного покоя и тихой молитвы, которая правила тем, что была слишком привлекательной даже в самой смерти; на изысканно округлых и гладких обнаженных руках цвета слоновой кости не видно было жемчужных браслетов. Долгое время я оставался поглощенным молчаливым созерцанием, и чем больше я смотрел на нее, тем меньше мог поверить, что жизнь навсегда остановилась в этом прекрасном теле. Я не знаю, была ли это иллюзия или игра отражений лампы, но можно было сказать, что кровь начала снова циркулировать под этой матовой бледностью, хотя она находилась всегда в совершенной

неподвижности. Я легко коснулся ее руки; она была холодной, но не более холодной, однако, чем ее же рука в тот день, когда она коснулась моей в церковных стенах. Я вновь наклонился к ее губам и позволил течь по моим щекам росе моих слез. Ах! Какой горькое чувство отчаяния и беспомощности! мука, какой я не знал раньше! Я имел желание собрать мою жизни в пучок и вдохнуть в Кларимонду ледяное пламя, которое меня пожирало. Ночь приблизилась, и я почувствовал момент вечного разъединения; я не мог отказаться от этой печали и от высшей сладости поцелуя в ее мертвые губы, который выразил бы всю мою любовь. О чудо! Легкое дыхание ее смешалось с моим дыханием, и рот Кларимонды ответил моему прикосновению: ее глаза открылись и просияли слабым светом, она вздохнула, разомкнула руки и обвила их вокруг моей шеи с несказанным ощущением. «Ах! Это ты, Ромуальд, – сказала она голосом томным и нежным, словно последние вибрации арфы, – но что ты делаешь? Я так долго ждала тебя, что умерла, но теперь мы поженимся, я могу тебя видеть и пойду с тобой. Прощай, Ромуальд, прощай! Я люблю тебя, это все, что я хотела тебе сказать, и я возвращаю тебе жизнь, которую ты напомнил мне в минуту твоего поцелуя, до скорой встречи!»

Ее голова упала назад, но она повернула свои руки, как будто хотела меня удержать. Резкий разгневанный ветер разбил окно и ворвался в комнату; последний лепесток белой розы трепетал, как крыло на краю стебля; потом он оторвал-

ся и вылетел в окно, унеся с собой душу Кларимонды. Лампа погасла, и я упал без чувств на грудь прекрасной покойницы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.